

P-174347

Ванда Василевская

В 19

№ 174347

ДНИ
КОТОРЫЕ РОЖДАЮТ
ГЕРОЕВ

★

гослитиздат

1942

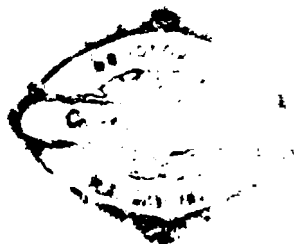


Ванда Василевская

ДНИ,
КОТОРЫЕ РОЖДАЮТ
ГЕРОЕВ



*Перевод
с польского*



ОГЛЗ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1942

174347.

В 19+ пометка

КНИГА
В СОХРАНИИ



ПЕСНЯ О РОДИНЕ

Миром цвела наша родина. Когда разбушевалась жестокая война в Европе, мы гордились тем, что у нас могут весело играть, петь и после работы безопасно ложиться спать трудящийся человек.

Радуюсь миру, пели о нашей родине песни, — о том, что спокойно может спать самый дорогой город, потому что все готово к его обороне, и если будет угрожать вражеская сила, все как один человек поднимется на борьбу. Если нужно будет, застучат пулеметы, загремят танки, и на земле, в небесах и на море разгорится бой за родину.

Сегодня пришел этот день. Ринулась на нас коричневая лава.

На рассвете пограничники схватились за оружие. Вылетел в ясное утро самолет. Встали на ноги границы в июньский солнечный день.

На земле, в небесах и на море пришло время подтвердить правду, подтвердить, что слова, которые повторялись сотни раз, не были пустыми словами, что шли они из самой глубины, что билось в них живое сердце, что были эти слова обетом той, которая нас кормит, одевает, защищает и воспитывает, — нашей гордости, славе и счастью — нашей Родине.

Пошла в бой Красная Армия за зеленые степи Украины, за белорусские равнины, за города, в которых кипит жизнь, за деревни под сенью лесов, за все, что 24 года тому назад приобретено кровью, ценою смерти лучших, ценою гибели храбрейших, за все то, что в течение 24 лет строили, возносили, развивали, на что потратили усилия и труд, что создавали с большим самопожертвованием.

Когда начался поход гитлеризма через страны Европы, падали государства, как карточные домики. Но ни один народ нигде не мог столько потерять, сколько можем потерять мы, ни один пролетарий в завоеванной Германией стране не мог сказать себе: государство, гражданином которого я являюсь, — мое государство, правительство, которое мною руководит, —

мое правительство, партия, которая руководит страной, — моя партия.

Советский гражданин идет в бой за то, что сам создал, построил, избрал, за то, что ему более всего дорожке и что составляет священную собственность.

Война, которая идет, — это не война из-за пограничных недоразумений, это не война за ту или другую добычу, за те или другие уступки. Началась война на смерть и на жизнь. Война за существование: или мы, или они. Третьего исхода нет.

Либо свобода — либо страшнейшее ярмо, либо свободный человек — либо униженный, оплеванный раб.

Боремся за собственное существование и боремся за судьбы мира. И народы всех стран верят в нас, в Красную Армию, в ее героизм. Мыслью и делом — с нами.

Уже вписаны в историю подвиги храбрейших, подвиги беспредельного самопожертвования. Придет время, и будет сказано о пограничниках из Угнева, о партийных работниках из Сокаля, из Дубно, стоящих на постах до конца перед лицом врага, в грохоте падающих бомб, в треске выстрелов из-за угла; придет время рассказать о героизме сотен летчиков и тысяч бойцов. Каждый день творит эпопею, каждый день полон любви к родине.

Но сегодня не время для повестей. Жестокое время требует и жестокой сосредоточенности от каждого. Враг, который выступил против нас, не знает жалости. Вступили в борьбу люди, воспитанные дикарями, отравленные ядом ненависти и вероломства. Мы знаем, как воспитывали фашисты население завоеванных стран, сегодня знаем уже, как они разоряют наши временно занятые территории. Сегодня не время для добродушия и снисхождения. Борется против нас дикое, кровожадное чудовище, и об этом нельзя забывать. Слепому бешенству врага мы должны противопоставить силу сознания, такую же безжалостную, такую же твердую.

Сегодня фронт повсюду: на фабрике, в учреждении, в каждом местечке, в каждой деревне. И враг всюду — в неприятельском танке, в одежде диверсанта, в нашептываемой на ухо сплетне, в словах паникера. И поэтому каждый из нас должен быть сегодня солдатом, на каком бы посту он ни стоял. В борьбе, которая охватила весь народ, мы победим. Мы располагаем для этого всем, чтобы сохранить свою страну, защитить человечество и культуру.

Но время требует от нас наибольших усилий, наибольшего самопожертвования, напряжения воли в борьбе за свободу, за Советский Союз, за родину нашу, за партию, за Сталина до последнего вздоха, до последней капли крови, до победы.

ПАРТБИЛЕТ

— Подавай, Катя, подавай...

Она торопливо, лихорадочно подавала патроны. Из-под платка выбились волосы. Алексей не оглядывался, припав к пулемету, бросал:

— Подавай, Катя, подавай...

Трещал пулемет, двигалась длинная лента. Катя торопливо хватала следующую, держа ее наготове.

— Катя!

— Да.

— Иди, еще раз позвони. Скажи полковнику, слышишь? Все скажи.

Она поползла кустами. За пригорком пустилась бегом, добежала до дому. К телефону.

— Город давай, город, тридцать пять.

— Не отвечает.

— Давай, давай — тридцать шесть.

— Не отвечает.

Телефон щелкнул. Катя заломила руки. Бросилась к окну. Там, за кустами, гремели залпы, хлопали выстрелы. Она еще раз дрожащей рукой схватила трубку.

— Милая, дорогая, говорит Орловка... Орловка... Милая, дорогая, дай город, тридцать пять...

— Не отвечает.

— Милая, милая, пойми, говорит Орловка... Орловка! Город... Все равно какой телефон, город!

— Постарайсь, подождите, — сказал вдруг голос в трубке.

Катя преодолевала дрожь, где-то там, далеко, она слышала треск включаемых проводов и приятный голос телефонистки, упорно повторяющий:

— Город... Город... Город...

— Алло Орловка!

— Я здесь, Орловка, Орловка...

— Связь с городом прервана. Поправляют. Надо подождать.

Она бессильно опустила руки.

Катя выбежала из дому. До кустов ползком на животе. Вот она добралась до своих. Алексей повернул от пулемета потное, закопченное лицо.

— Ну как?

— Связь прервана. Чинят.

Он сжал зубы.

— Катя, посмотри, — со стороны Гриши ничего не слышно.

Она поползла направо, на пригорок. Молоденький пограничник лежал лицом к земле. Она осторожно коснулась губами

мальчишеской щеки. Щека была еще теплая. Она сунула руку под гимнастерку — сердце не билось.

— Мертвый, — сказала она Алексею.

— Девять, — отозвался он. — Подавай патроны, Катя.

Она подавала. Расширенными глазами смотрела туда, на другую сторону: узенькая речушка и мосток. Там, за мостком, на зеленом фоне взрывались красные огоньки выстрелов. Немцы.

— Подавай, Катюша, подавай...

Они лежали, прижавшись к земле, спрятанные за кустами, за буйно растущей травой. И без перерыва, без памяти палили в ту сторону. В двухстах — трехстах шагах от них засели немцы.

Катя машинально подавала патроны и машинально считала: да, девять, Гриша ведь уже не в счет...

Рядом, совсем близко, кто-то застонал. Теперь уже не девять, а только восемь.

— Катя, попробуй еще, еще попробуй, может, поправили.

Она вскочила, побежала.

— Орловка... Говорит Орловка... Милая, дорогая, давай город...

— Связь будет через два часа.

Катя бросила трубку. Бегом назад.

— Алексей, связь будет через два часа.

— Через два часа нас уже не будет, Катюша.

Она торопливо сосчитала. Семеро. Ну да, семеро...

— Катюша, возьми платок и посмотри, что там с Платоном.

Она поползла за кусты, обвязала раненую руку платком.

— Ползите отсюда, вы ранены...

— Ничего, ничего, Катюша, ничего.

— Катя!

Она услышала голос мужа и бросилась к нему.

— Слушай, Катя...

Он не смотрел на жену. Он не отрывал глаз от зеленых зарослей там, за мостком, где расцветали красные взрывы.

— Сумеешь вывести машину из сарая?

— Нет, отшатнулась, словно ее толкнули в грудь.

— Сумеешь?

Он не смотрел на нее. Он смотрел туда, в зелень зарослей, расцветающую красными огнями.

— Да, — сказала она глухо.

— Слышишь, Катя?

— Да.

— В шкапу документы. Все документы в машину и в город. Отдай полковнику. Понимаешь?

— Алеша, я останусь... Не могу...

— Катя, немедленно! Понимаешь? Немедленно! Через минуту может быть поздно. Документы — все, что в шкапу. Понимаешь, Катя...

— Да.

Он не взглянул на нее ни разу. А она не решилась коснуться его руки, протянутой за новой пулеметной лентой.

— В машину, и полный ход. Гони, как можешь. Возьми наган, слышишь? Помни, Катя, семь патронов — последний оставь на всякий случай, понимаешь?

— Да...

Она тихо поползла к кустам. Вдруг он позвал снова.

— Катя, подожди, мой партийный билет возьми, собери у всех. Отвезешь партбилеты.

Она взяла красную книжечку. Потом поползла от одного к другому. Пятеро, пятеро ей подали свои партийные билеты.

— У тех тоже возьми.

Она обыскала карманы убитых. Вот они, маленькие красненькие книжечки.

— Помни, Катя, приготовь бензин, в случае чего — облить и поджечь... И седьмой патрон помни... Иди скорей, Катя, скорей...

Теперь он, наконец, взглянул на нее. Серые, любимые глаза... Она почувствовала отчаянную, безудержную, безумную любовь к этому человеку.

— Алеша...

— Ничего, ничего, Катя. Иди поскорей. Это и есть любовь, Катя.

Это и есть любовь. Она закусила губы. Осторожно ползла, чувствуя на груди жесткое прикосновение красных книжечек.

А потом — бегом. За домом сарай, в нем грузовик.

Катя завела мотор. Там, за кустами наверняка слышат его гуденье. Слышит Алексей.

— Это и есть любовь. Вот это и есть любовь, — как в бреду, повторяла она сухими губами. Выехала на дорогу.

Она наклонилась над рулем. Дорога была ровная, гладкая. Катя дала полный ход. Ветер свистел в ушах.

Мелькали зеленые деревья, белые избы. Она неслась, неслась вперед, повторяя про себя слова Алексея:

— Скорей, может быть слишком поздно.

На распутьи пришлось остановиться, спросить дорогу. Она ведь не знала эти края — первый раз здесь. Один вечер и одна ночь после шестимесячной разлуки. Алексей...

Наконец, город. Ее задерживали, спрашивали. Она автоматически отвечала.

Ей показали дорогу. Она тяжело шла по лестнице. Один

этаж, другой. Ах, какая длинная лестница... Одна дверь, другая дверь, третья... Военные, милиционеры, полно людей. Зеленые шапки. Сердце сжалось при виде зеленых шапок пограничников.

Она подошла к столу и сказала:

— Комендант, Алексей Назаров, велел мне отвезти документы.

Она подавала бумаги, портфели, пакеты. Человек за столом брал все по очереди, спокойно, старательно складывал.

— А теперь сядьте, отдохните.

Она хотела сказать, что не устала, но ноги подгибались. Она тяжело опустилась на стул. В голове еще гремели выстрелы и нестерпимо грохотал могор грузовика.

Человек за столом взял телефонную трубку.

— Дайте Орловку.

Катя ждала.

— Орловку, Орловку, немедленно!

Она ждала. Тот тоже ждал. Глазами, полными одного страстного желания, она пыталась прочесть что-нибудь в его глазах, крепко сжимала пальцы.

— Так. Так.

Он медленно положил трубку.

— Что, что?

Он вышел из-за стола. Взял в свои руки ее холодные, крепко стиснутые пальцы.

— Орловка не отвечает.

— Еще нет связи?

Она чувствовала, как стынют ее пальцы, как леденеют ноги, леденеет все тело.

— Милая, храбрая... Что ж делать? Война... В Орловке немцы...

Как эхо, как отдаленное воспоминание пронеслись в голове слова песни — кто же это пел и когда? Алексей чернобровый, светлоглазый, милый, любимый, любимый Алексей!

Жалко только волюшки во широком полюшке,
Солнышка на небе, любви на земле...

Она уже совладала с собой.

— Я пойду... Мне надо в обком.

Ей показали, как пройти.

Снова письменный стол, снова человек за столом. И снова у нее сжалось сердце. На кого он похож? Ах да, на Гришу, на молоденького Гришу, что пал первым.

— Я принесла партийные билеты.

Она вытащила их из-за пазухи. Десять ярких, красных книжечек.

— Чьи партийные билеты?

Катя выпрямилась. Уверенным голосом сказала:

— Партийные билеты десяти товарищей пограничников, погибших на посту в борьбе с немцами сегодня на рассвете.

Секретарь встал. Партийные билеты лежали на письменном столе. Десять красных книжечек, сверкавших на зеленом сукне, словно пятна живой крови.

БРАТСТВО НАРОДОВ

— Эй вы там, братство народов, идите есть!

— Идем! — отвечал Рысаков. И вся тройка шла к дымящейся полевой кухне.

— Где братство народов? — спрашивал командир, и каждый красноармеец безошибочно указывал на большой серый танк.

Их было трое — украинец, русский и еврей. Экипаж танка. Но они держались вместе не только в танке, они были неразлучной тройцей всюду. Спали рядом, вместе брали пищу из котла и целыми часами могли разговаривать друг с другом.

— О чем вы вечно болтаете? Не надоело вам еще?

Финкельштейн застенчиво улыбался.

— Зачем? Столько разных вопросов... Мы себе разговариваем. Что, это мешает кому?

Собственно, больше говорил как раз Финкельштейн. Микола любил смеяться и слушать. Рысаков часто впадал в меланхолию.

— Как подумаешь... Вот, говорится: жизнь... Я вам скажу: ужасно я люблю жизнь... И как все могло быть хорошо... Страна у нас, эх, что за страна! Люди у нас — сами знаете, что за люди... Из года в год было все лучше, да что там, из года в год! Из месяца в месяц... И вот...

— Это вполне понятно, — начинал длинные рассуждения Финкельштейн. — Пока существует капитализм, будет существовать война. Пока существует капиталистическое окружение, над нами висит угроза войны.

Рысаков слушал, кивал головой, вздыхал.

— Я понимаю... Я отлично понимаю. И нечего мне тут лекции читать. Только, видишь ли, понимать — это одно дело, а другое дело... Ну вот, тяжело становится, как подумаешь...

— Это все потому, что мы сидим на месте и ничего не делаем, — ввернул Микола басом.

— А то как же?.. Эх, когда пули свистят над головой, задумываться некогда.

— А я, — робко признался Финкельштейн, — я как раз тогда думаю...

— О чем думаешь!

— Не «о чем», — о ком... Я себе думаю... Ее зовут Соня.

— Твоя девушка?

— Да... Так вот я и думаю о Соне...

— А какая она? — заинтересовался Микола.

— Она? Соня... Соня, она маленькая, совсем маленькая... Мне по плечо, не больше... и волосы у нее черные, и глаза черные, ох, какие черные... А на щеке, когда смеется, ямочка...

— Да, — живо подтвердил Микола, — круглая ямочка...

— Ты же ее не знаешь, — обеспокоился Финкельштейн.

— Кого не знаю?

— Да Сони же...

— Я не о Соне, глупый, я о Гаше...

— Ага...

Рысаков вздохнул.

— А у меня уже дети. Двое. Девочка и мальчик. Чудесные ребята...

— Большие? — заинтересовался Микола.

— Шесть и семь лет. Мальчик озорной, как там мать с ним справится?.. А девочка... Эх, что за девочка! А как поет... Артисткой будет, что ли... Голосок, как у соловья...

— Как там теперь дома? — расчувствовался Финкельштейн.

— Дома? Сейчас тебе скажу. Моя жена чинит Коле портки, наверняка порваны. Каждый день мальчишка портки рвет; как он ухитряется, прямо не знаю. Миколина Гаша, верно, в поле, уборка ведь.... А Соня...

— Соня на фабрике. Она на трикотажной фабрике работает. И мой отец на фабрике, ткач. А мамы у меня уже нет. давно умерла, не помню ее. Я самый младший...

— А братья, сестры есть?

— А как же... Сестра у меня врач... Брат в Красной Армии на Дальнем Востоке... Нас трое... Было четверо, но один брат умер.

— Ага... Скажи мне, Финкельштейн, как ты думаешь, что будет после войны?

— После войны? Это зависит от многого... Рабочий класс Германии...

Они внимательно слушали.

— Очень ты ученый, Финкельштейн... Тебе бы где-нибудь за письменным столом сидеть, в библиотеке... Профессором бы тебе быть, или что... а не в танке.

Финкельштейн застенчиво улыбнулся.

— Я как раз и думал... Профессором... И отец всегда говорит: Шмуль, у тебя есть голова... Ну, что за голова!

— Ты будешь профессором... Но это уж после войны...

— Ну, конечно, после войны.

— Учиться еще нужно, много учиться...

— А я после войны женюсь на Гаше, сейчас же, в первый же день. У нас колхоз — на диво. Дети будут, много детей. Буду хозяйничать!

— А я поеду с Леной на Кавказ. Она никогда не была на Кавказе. Я уж давно ей обещал, да все не выходило. Но после войны уж наверняка.

— Знаете что, — оживился Финкельштейн, — а после войны мы все встретимся. Я с Соней, и Микола с Гашей, и ты со своей женой. Все приедете ко мне в Харьков.

— А я думаю, лучше ко мне. Чего там в город ехать? Приедете, полежите на травке в саду. Сад у нас хо-хо! Такие яблоки, говорю вам... Приедешь с детьми, вот им будет радость! Мальчишка твой ползает по деревьям, натрясет яблок...

— И опять портки порвет...

— Что там портки!.. К реке пойдем, рыбу ловить... Рыбы у нас — богатство... Эх, что вы там знаете! Гаша борща наварит, по-нашему. Нигде такого борща не варят.

— С чесноком? — заинтересовался Финкельштейн.

— Можно и с чесноком... Только чтоб не слишком. Если много чесноку, весь вкус пропадает, один чеснок. Так уж только самую чуточку... А?

— Чуточку можно. — согласился Рысаков. — А блины у вас делают?

— Почему нет? Можно и блины... А только лучше наварит нам Гаша вареников. С твррогом вареники, со сметаной. Ешь, ешь, брюхо лопается, а отвалиться не можешь. Такие вареники...

— Я-то за едой не очень... А вот полежать на траве, на речку сходить, это да, — согласился Финкельштейн. — Соня очень любит природу...

— Значит, договорились, ребята?

— Договорились.

— Только бы немцев побить.

— Не бойся, побьем...

— Я знаю... Только бы поскорей...

— Смотрите, какой скорый!

— Первая империалистическая война продолжалась... — начал лекцию Финкельштейн. Рысаков махнул рукой.

— Что там первая империалистическая! Тогда не было таких танков, ни таких самолетов, вообще техники... Теперь не то. Скорей дело пойдет.

— Можно и скорей, — согласился Финкельштейн.

— Только бы уж вперед, — вздохнул Микола.

— Будет и вперед, — успокоил его Финкельштейн. — Стратегия требует...

— Эй, вы там, братство народов, собираться...

Они кинулись к своей «хате». С шумом, грохотом, скрежетом огромный танк двинулся вперед.

Высоко вверху шумели самолеты. Глухой гул далекой артиллерийской пальбы сотрясал воздух, как затаенное рычание огромного зверя в глухую ночь. Яркий свет далеких взрывов вспыхивал на горизонте, как отблеск пожара. По лесной дороге в ночную тьму шли танки. Далеко вокруг разносился грохот стальных гусениц, грозное бряцание железа. Над дорогой низко нависали сосновые ветви, срывались во мраке испуганные птицы, беспомощно трепыхали крыльями в лесной тьме. Колонна двигалась вперед, хрустящая стальная змея, один за другим шли танки — молчаливые, слепые чудовища.

Бой начался утром. С грохотом и скрежетом шли тяжелые машины, опрокидывали мелкие деревца, давили стволы. Березовая рощица послушно ложилась, как рожь под косами косарей. Роса на листьях еще не обсохла и брызгала теперь дождем на стальную обшивку передних танков. Над белизной березовых стволов, словно над молочными сгустками тумана, нежно зеленели хрупкие ветки. И в этот молочный туман, в колеблющуюся зелень берез, в чащу папоротника, устилающего землю перьями разлапистых листьев, шли давящие все на своем пути танки. Дугой пролетали мины и со стоном, свистом, шумом взрывались, выбрасывая фонтаны огня. Глухо гудели орудийные выстрелы, коротко лаяли пулеметы.

Рысаков, не отрывая, держал руку на своем пулемете, безошибочно посылая смерть немецким рядам, идущим вперед с диким, нечленораздельным криком. Внутренность танка содрогалась и гудела от непрестанной пальбы. Стальные плиты раскалялись, было жарко и душно, пахло порохом. Танк медленно взбирался на пригорок, всей тяжестью скатывался с него вниз, гусеницы стлались по сухой земле. Купа берез — через мгновение хруст, треск ломающихся стволов, и перед танком открывалось свободное пространство.

Хруст... Рысаков чувствовал, что танк давит не только березовые стволы. Под гусеницами трещали, хрустели человеческие кости, человеческие черепа, человеческие тела. «Как тараканы», — с отвращением подумал Рысаков. И в тот же момент что-то грохнуло, стальное чудовище задрожало. Оно засопело, еще немного подвинулось вперед и остановилось.

— Гусеница, — пытался Микола перекричать дикий гвалт боя. Рысаков кивнул головой. Оба его друга стали у второго пулемета. Неподвижный танк торчал, как мрачная гора, среди

путаницы белых березовых стволов и сплетений длинных зеленых березовых ветвей, еще не тронутых золотящей рукой осени.

— О-ооох...

Рысаков тотчас же услышал этот стон, и ему показалось, что застонал он сам. Прямо напротив перли в атаку немцы. Он видел их красные разгоряченные лица, широко открытые в крике рты. Они были пьяны — по обыкновению, они были пьяны и перли вперед на верную смерть в пьяном безумии. Он оглянулся. Те двое оба держались руками за глаза. Их пулемет умолк. Из-под пальцев Финкельштейна узкой струйкой текла кровь.

— Глаза, глаза, глаза, — монотонно повторил несколько раз Микола.

Рысаков почувствовал пробежавшую по телу холодную дрожь. Он сделал движение к раненым. Но в ту же минуту шум со стороны немцев усилился. Он бросился к своему пулемету. Да, они шли, перли вперед, не глядя ни на что.

— Патроны! Можете подавать патроны?

Финкельштейн ощупью подполз к нему. Микола дрожжащими пальцами выскивал патроны.

— Подавайте, подавайте, — можете подавать?

— Подожди, я сейчас, я сейчас...

Он не смотрел на их окровавленные лица. За спиной он чувствовал их тяжелое дыхание, машинально брал патроны. Бил, бил в ясно видимую цель, в немцев, появляющихся из-за небольшого холмика земли.

— Подавайте, подавайте.

Они подавали. Финкельштейн тяжело дышал, при каждом движении из его груди вырывался глухой стон. Микола стонал тонким, детским голосом.

Бах — танк задрожал вторично. Рысаков выругался.

— Вылезай, вылезай!.. Теперь будем из-за танка.

— Подожди, я...

Конечно, они не видели. Они были слепы, слепы. Рысаков не чувствовал в эту минуту жалости, а лишь дикое бешенство. Как раз сейчас, как раз в этот момент дать себе вышибить глаза! Куда они глазели, как они глазели, разини? Как раз теперь, когда нужны были все силы...

Он вылез из танка и рванул за руку Миколу.

— Сюда! Сюда!

Раненые, хватаясь за плиты, за гусеницы, неверными шагами вышли из подбитого танка.

— Ложитесь!

— Где немцы? — глухо спросил Финкельштейн.

— Прямо перед нами, — не видишь?

— Нет, я не вижу, — сдавленным голосом ответил Финкельштейн.

— Прямо против тебя, прямо перед носом, — бросил Рысаков и выстрелил.

Небольшой холмик земли и разбитый танк заслоняли их. Позиция была хорошая. Лежа, он продолжал стрелять из винтовки. Шумел и гудел воздух, хлопали выстрелы, гремели и хрустели танки. Немецкий напор ослаб. Рысаков увидел, как сбоку, со стороны группы берез, вдруг вынырнул танк. Его серо-зеленое тело появилось совсем рядом с немцами.

— Зашли в тыл! Зашли в тыл! — радостно заорал он.

Немцы не выдержали. В паническом бегстве они бросились назад, в ту сторону, откуда пришли. Рысаков вскочил с земли.

— Бегут! Бегут! Бегут!

Он был перепачкан землей, кровью, пьян от утомления и внезапной, дикой радости. Сзади двигались танки, набегали бойцы. Немцы перестали даже отстреливаться. Серо-зеленые чудовища перли вперед, неумолимо догоняли их, давили стальными гусеницами. Погасли огни мин, поле и лес умолкли.

— Эй, братство народов, где вы? Что там у вас, разбили вашу избу, а?

К ним подходил командир. Он с изумлением смотрел на маленькую группку.

— Финкельштейн, с ума ты сошел, что ли? Что ты делаешь?

Рысаков оглянулся. За маленьким холмиком земли, откуда он только что поднялся, лежали те двое — Микола и Финкельштейн. Поддерживая друг друга плечом, ощупью помогая друг другу, они заряжали наганы и вслепую били в ту сторону, где еще минуту назад двигалась вперед немецкая часть. Из кровавых глазниц ручейком стекала кровь. Дикое напряжение, нечеловеческое усилие отпечаталось на лицах, поднятых вверх, глядящих невидящими глазами на невидимую цель. Резко и коротко били наганы. После каждого выстрела из груди Финкельштейна вырывался глухой стон. Микола стрелял молча, белые зубы так крепко врезались в нижнюю губу, что на ней выступила кровь.

— Что вы делаете? С ума сошли, что ли?

— Они слепые, — глухим голосом объяснил Рысаков.

В ХАТЕ

— Бабка! Бабка!

Анисья подняла глаза. Из-за плетня ее звала Наталка.

— Чего?

— Можно зайти к вам на минутку?

— Чего ж нет? Заходи, если надо! — ворчливо сказала Анисья.

Ох, как сегодня грело солнце! Казалось, что наконец-то прогреются застывшие, изболевшиеся кости. Доброе, милое, июльское солнце. Только бы дождя не было, — заранее огорчалась Анисья. Дождь — это хуже всего. Тогда ломило, стреляло в костях, опухали суставы, трудно было шаг ступить. Другое дело, когда светит солнце, да еще так, как сейчас. Ласковое, июльское, золотым потоком льющееся на землю.

— Бабка!

— Чего тебе?

— Вы слышите, что я говорю?

— Что ж тут не слышать... Слышу, — равнодушно сказала Анисья. — «Вечно какие-то дела... Оставили бы старуху в покое. Ей уж ничего не нужно от жизни, только бы немного покоя, только бы как-нибудь дождаться смерти, что все не приходит».

— Бабка, — настаивала Наталка, — посмотрите на меня.

Старуха неохотно подняла тяжелые веки. Туманные, словно подернутые пленкой, глаза взглянули на девушку.

— Бабка, немцы идут.

Анисья пожала плечами. Она слышала это уже несколько дней. Они шли. Ну и что же? И немцы, небось, дадут спокойно помереть такой старой рухляди, как она. Идут, так идут. Немцы — это слово было таким далеким и, собственно, ничего не означало. Важнее то, что вот пригревает солнце и расплывается мягким теплом по больным костям. Немцы — это пусть молодые думают о немцах... Ей-то старухе что...

— Бабка, мы уходим в лес.

— А идите, — пробормотала Анисья. — Мне-то что?.. Я в лес не пойду.

Наталка нетерпеливо схватила ее за руку.

— А ты не трогай... Больно... Смотрите, какая...

— Бабка, бабка, послушайте минутку!

— Я слушаю...

— Вы меня слышите?

— Слышу.

— Бабка, мы все уходим в лес, и тятя, и я, и все, все!

— Ну и идите... Так и надо. Раз немцы... то в лес. А я тут погреюсь на солнышке...

— Бабка, у нас в саду два красноармейца.

— Кто?

— Два красноармейца, понимаете?

— Понимаю... мне что?..

Девушка с отчаянием тряхнула ее за плечо.

— Бабка, не спите! Не спите!

— Я не сплю... Так, чуточку дремлетесь...

— Бабка, слушайте, у нас в саду, в той будке, что за сливами, два красноармейца.

— Ну так что? Понравился тебе который, что ли?

Наталка вздохнула. Она присела на корточки и, глядя в бледные, подернутые бельмом глаза, громко, выразительно говорила:

— Бабка, у нас два красноармейца. Раненые. Их нельзя взять с собой. Они лежат, их нельзя шевелить. Понимаете?

— Понимаю... На солнышко бы их...

— Бабка, они тяжело раненые, понимаете? Мы все уходим в лес. А немцы вот-вот подойдут... Бабка, им надо воды подать, походить за ними, понимаете?

— Чего ж тут не понять?

— А сможете вы?

— Почему не смочь? Если солнышко, косточки не болят, смогу...

— Знаете, где у нас будка?

— Знаю, как не знать...

— Так зайдете к ним?

— Зайду, зайду...

— Да только так, чтоб немцы не заметили...

— Не заметят, нет... Чего им за старой бабой ходить? А я помаленьку за сливы, за сливы...

— Не забудете, бабка?

— Зачем забывать... Двое, говоришь... Воды им надо, подушку поправить или еще что... Поесть отнести. А то как же?..
Девушка обрадовалась.

— Да, да, бабушка. Пока-то они и не едят, бедняги... Но дня через два, может, и получает...

— Уж я присмотрю... Хлеба снесу или еще чего... Я уж присмотрю.

— Когда пойдете?

— Я и сейчас пойду и потом... Ты уж там будь спокойна, будь спокойна...

— Не забудете?

Старуха возмутилась.

— Ты что? Раз бабка Анисья сказала, значит сказала. А ты что себе думаешь? Что бабка Анисья уж такая рухлядь, что никуда? Нет... Пока солнышко, так и я еще кое-чего могу...

Наталка погладила морщинистую, дрожащую руку.

— Ну, так будьте здоровы, бабка... Я так думаю, что скбро мы обратно в деревню... а теперь, пока что, надо спрятаться. Мы их из лесу клевать будем.

— Это правильно, — бормотала старуха. — Из лесу... Не

бойся, придешь, все будет как надо... Уж я о твоих парнях не забуду...

От илетня раздался зов:

— Ната-алка! Эта теперь где? На-аталка!

— Иду, тятенька, иду!

И замелькали босые ноги. Анисья покачала головой:

— Вот коза. Ну, старая, поглядим, где там эти двое...

Она тяжело приподнялась. Труднее всего было встать. Но, раз распрямившись, больные ноги шли уже сами. Опираясь на палку, она медленно брела по саду. Полуослепшие глаза высматривали в солнечном блеске знакомые тропинки. Она знала их наизусть. Здесь, на этом клочке земли она прожила — сколько же это лет? Девяносто? Девяносто один?

— Нет, не вспомнишь, годы перепутались, столько их набралось.

Она обошла кругом, вошла в соседский сад. Сливы росли в углу за грядками подсолнухов, за коноплей, за чащей малиновых кустов. Будка — маленькая, прикрытая соломой, заброшенная ветвями. Она нащупала вход.

— И не найдешь... Так спрятаны, что и не найдешь...

На соломе лежали двое раненых. Старуха присела на корточки и рассматривала их.

— Ишь, сопляки еще...

Один из раненых очнулся от лихорадочного забытья, поднял перевязанную голову.

— Кто здесь?

— Тише, тише... Бабка Анисья пришла... Ты лежи, лежи спокойно...

— Воды...

— Воды... Принесу и воды, голубок, а как же, всего принесу...

Она сама не знала, откуда взялись у нее силы. Рвущая боль в ногах прекратилась. Анисья не помнила о ней. Она начерпала воды из колодца, налила в кувшин и снова отправилась в сад, под сливы.

— Пей, пей, голубок... Вода хорошая, холодная, из нашего колодца. Ты пей... Это само здоровье, такая вода.

Другой раненый метался в жару. Она намочила тряпку и положила ему на разгоряченный лоб.

— Вот и пригодилась старуха... А Наталка все на меня, да на меня... Чего тут не понять? Больному воды надо, известное дело... А ты, голубок, спокойно лежи... Вот полежишь денек-другой и легче будет...

Она поставила кувшин около раненых и засемила к себе. Тут она снова уселась на пороге и сразу задремала, утомлен-

ная хлопотами. Сквозь сон она чувствовала, как жужжат сонные, ленивые мухи, как греет солнце, как оно сладостным теплом разливается по телу. Ее разбудила вечерняя прохлада. Она с усилием засемила к раненым и снова вернулась к себе.

— Вот и день прошел... А завтра опять погода ясная будет!

Утром во двор вошли трое. Бабка Анисья их не испугалась. Что ей немцы? — Ей, может, несколько дней осталось до смерти, до той смерти, что все не приходила.

Она спокойно ждала. Ясно слышала жесткие звуки чуждой речи. Пусть болтают... Все равно ничего не поймешь.

Они кричали на нее, она добродушно усмехалась, стараясь получше рассмотреть их. Да, их было трое, молокососы, не старше тех, что лежали в будке, в углу соседского сада. Она вспомнила — хватит ли там воды в кувшине? Хоть бы уж ушли с богом, надо будет заглянуть к тем... Потихоньку, потихоньку, чтобы никто не заметил... Кто там станет примечать за старухой, что едва бродит?

Они покричали, покричали и ушли. Анисья думала, что на том и конец. Но не успела она подняться с порога, как их привалило полный двор.

— Твоя хата?

Она заслонила рукой глаза от солнца. Кто-то говорил по-украински, — родная речь, только немного жесткая и хриплая. Она все понимала. Ей только не хотелось разговаривать.

Но офицер напирал.

— Говори, твоя хата?

— Моя... А что?

Офицеры совещались между собой. Анисью злило, что они заслонили ей солнце. Она сердито заворчала под нос.

— Что?

— Ничего... Я так...

— Открывай избу.

— Да ведь открыта, — удивилась Анисья.

— Открывай, когда тебе говорят, — крикнул переводчик.

Медленно, постанывая, тяжело опираясь на палку, она поднялась и вошла в избу. Офицеры за ней.

— Тесно, духота, — поморщился полковник.

— Можно открыть окно, — рванулся кто-то из младших и толкнул маленькое оконце. Оно с шумом распахнулось в еще прохладный от утренней росы тенистый сад.

— Спроси ее, где люди из деревни, — приказал полковник.

Анисья стояла, опираясь на свою палку, и водила глазами по толпе чужих людей.

— А я ж знаю? — пожалала она плечами на вопрос переводчика. — Я старая, по деревне не хожу...

— Ты одна в хате?

— Одна... Уж десять годов, как одна...

Ее оставили в покое. Они расселись на лавке, на кровати и громко разговаривали о чем-то. Она подождала минутку и двинулась к двери. Чья-то тяжелая рука упала на ее плечо и дернула ее назад. Она поняла, что ее задерживают в избе. Полковник долго разговаривал с переводчиком.

— А вы присматривайте. Слепая, старая, а чорт ее знает, что там в сущности... Оглянуться не успеете, как она наведет на нас кого-нибудь... Я настойчиво вам предлагаю не выпускать из избы, ни на минуту не спускать с нее глаз, ни на минуту...

Когда переводчик ей объяснил, что она должна сидеть дома, Анисья несколько раз покладисто кивнула головой. Ей-то что?... Дома, так дома.

Она взобралась на печку и задремала. В избе громко разговаривали, раскладывали по столу карты, ссорились, свистали, топтали подкованными сапогами. Это ей не мешало. Она дремала. Жужжали мухи, скрипели двери, бегали солдаты. Она слышала все это как сквозь туман, охваченная старческой дремотой.

Но к вечеру ее охватило беспокойство. Там, в притаившейся под сливами будке, наверно, уже не хватило воды в кувшине. Хлопцы ждут и не могут дожидаться бабки Анисьи. Они ведь ничего не знают. Подумают, забыла старуха, поленилась притти...

Она совсем очнулась от дремоты и внимательно осмотрелась в избе. Их было тут полно, они толпились у дверей, ходили по сням, у входа стоял часовой. Выйти незаметно нечего было и думать. Она кряхтя слезла с печки.

— Ты куда?

Переводчик вырос словно из-под земли. Она сердито оттолкнула палкой его руку.

— Смотрите какой... По своей нужде иду. Понятно?..

Он отступил, но, выйдя, она заметила, что он идет за ней по пятам. Она пожала плечами.

— Вот еще, старой бабы испугались немцы... Видно, хоть и старая, а еще кое-что могу. Ну, стерегите, стерегите...

Она вернулась в избу на печку. Но беспокойство за тех, за тех двух угнетало ее все сильнее.

— Вот Наташа, та бы, может, и сумела выскочить... А мне, старой... Что ж, голубки, если мне и за своей нуждой не дадут выйти, лезят вслед, словно невесть что, так как же мне быть то? Как же так?

Она долго вертелась на своей подстилке и тяжело вздыхала.

Когда пришел сон, ей снились те двое. Они просили воды, громко кричали о воде в своей будке, а воды не было. Они звали ее, бабуку Анисью, а бабушка Анисья не приходила. Перевязка на голове сдвинулась и некому было поправить. Они жаловались Наташе, что бабушка Анисья не сдержала слова. И Наташа грозила бабушке пальцем и что-то долго и строго говорила, так, что старые глаза налились слезами. Ох, как громко кричали те двое, как громко требовали воды. Так громко, что Анисья проснулась. И сразу почувствовала: что-то неладно. Она взглянула с печки, и ей показалось, что ей все еще снится.

Офицеры сидели за столом на табуретах, на кровати. А перед ними стояли, поддерживаемые солдатами, те двое, из будки под сливами. Бабушке Анисье показалось, что с ее глаз вдруг спало бельмо, нараставшее на них годами. Она увидела, так отчетливо, как уж давно не видела, — перевязку на голове, перевязку на ногах, на руке. Молодые лица, поросшие темной, давно не бритой щетиной. Глаза горели лихорадочным блеском. Анисья приподнялась на печке, крепко стиснула пальцы, чтобы не крикнуть.

За столом, по самой середине, сидел полковник. Он качался на стуле, и огромная, чудовищная тень колебалась на стене в такт его движений. Керосиновая лампа светила снизу, и глаза полковника исчезали в черной тени глубоких глазниц. Переводчик стоял у стола около раненых. Полковник бросал вопрос, и переводчик быстро, жестко, хриплым голосом, повторял его.

— Какой части?

Бабушка Анисья слышала ясно. Словно разорвался туман, который годами затыкал ее уши. Слова доносились так отчетливо, как никогда за многие, многие годы.

Анисья даже здесь, на своей печке, слышала тяжкое дыхание раненых. Они хватали запекшимися губами воздух, тяжело дышали. Они шатались, и руки немецких солдат грубо и крепко поддерживали их.

— Какой части?

Они не отвечали. Полковник сердито грохнул кулаком по столу.

— Скажите им, что я не поцеремонюсь, понятно? Скажите, что я им советую говорить, от души советую! Скажите им, что у меня на таких, как они, есть свои способы. Спрашивайте: какой части, когда здесь стояли, куда пошла, откуда пришла, где армия, где население деревни, в каких боях они принимали участие? — Все! Спрашивайте!

Анисья слышала жестокую угрозу в его голосе. Она чувствовала, как колотится ее сердце. Оно билось, билось так сильно,

как не билось долгие годы, и старуха подумала, что, пожалуй, там у стола слышен грохот, разрывающий ей грудь. Но никто не смотрел на печку. Все глаза были устремлены на тех двоих, что пошатывались перед столом, поддерживаемые грубыми солдатскими руками.

— Какой части?

Раненый в голову перевел дыхание. Бабка Анисья ожидала, вся дрожа.

— Не скажу.

— А ну, Ганс, помоги ему. У него слова не пролазят сквозь зубы, ты помоги ему.

Солдат замахнулся и ударил кулаком по лицу. Голова в грязной, пропитанной кровью повязке бессильно качнулась назад. Но раненый, напрягая волю, выпрямился опять.

— Не скажу.

— Где армия?

— Не знаю.

— Ганс, напомни ты ему, ты ему напомни. Бедняжка, видно, забыл... Но мы ему напомним, ах, как напомним...

Удар в скулу. Второй, третий. Кровавые пятна выступили на повязке. Анисья подавила рвущийся из горла крик.

— Где люди из деревни?

— Не знаю... Я никого не видел, — хрипел раненый.

Полковник гневно сжал лежащие перед ним бумаги.

— Ганс, он не видел... Понимаешь, он не видел... Ну-ка, помоги ему увидеть. Понимаешь, помоги ему так, чтобы он увидел...

Раненый упал. Анисья приподнялась. Нет, этого не может быть, старые глаза ее обманывают! Солдат вытащил штык. Двое сели на лежащего. Осторожным, почти нежным движением солдат воткнул штык в левый глаз. Раздался нечеловеческий, задушенный крик и тотчас умолк.

— Где армия?

— Не знаю... не скажу... Ничего не скажу... — с усилием прохрипел раненый. Кровь текла из глазницы, хлестала изо рта. Полковник встал из-за стола, наклонился над умирающим. На его лице выразилось что-то похожее на любопытство. Он ткнул носком сапога неподвижное тело.

— Спросите его еще, будет ли он говорить, или нет?

Переводчик низко наклонился над лежащим. Бабка Анисья услышала бульканье крови в горле раненого. И сквозь этот страшный звук со стоном, с усилием, прорвались слова:

— Это есть... наш последний...

— Что, что? — заинтересовался полковник. — Что он говорит?

— Ничего...

— Как ничего? Он сказал что-то...

— Что-то бессвязное...

— Прикончить, — сказал полковник.

Солдат замахнулся штыком.

— Не тут, — заорал полковник. — Убрать из избы!

Солдат взял подмышки неподвижное тело и потащил к порогу. Анисья видела, как тащатся по полу бессильные ноги, как струйка крови ведет след через всю избы.

Она сидела, придерживая руками сердце. По стенам плясали черные тени, стучали кованые сапоги. Перед столом стоял теперь другой. Он шатался в руках поддерживающих его солдат.

— Следующий! Спрашивайте.

Анисья торопливо спрятала голову под одеяло. Она затыкала пальцами уши, чтобы не слышать. Зажимала ладонями глаза, чтобы не видеть. Со стоном проклинала свою жизнь, которая тянулась девяносто, девяносто один год, чтобы дойти до этой ночи. До этой ночи! Она проклинала свои глаза, они не ослепли во-время, не заросли до конца бельмом, они увидели. Проклинала свои уши. Они не оглохли во-время, они могли это слышать.

Сквозь одеяло до старых ушей доносились стоны и отчаянный, монотонный, все один и тот же крик:

— Не знаю! Не скажу!

И, наконец, тишина. Но она долго не решалась выглянуть из-под одеяла. Наконец высунула голову. Те, повидимому, собирались спать, расстегивали пояса, снимали сапоги. Закрыли окна деревянными ставнями. Задвинули засов у дверей. Перед домом расположились лагерем солдаты, за дверьми ходил часовой, но офицеры, видно, никому и ничему не доверяли. Полковник сам осмотрел и попробовал засов у дверей. Проверил ставни. И сам подошел к печке посмотреть, спит ли там старуха.

Анисья поспешно закрыла глаза, стараясь дышать ровно, спокойно.

Лампа погасла. Анисья чувствовала, как у нее деревенеют руки и ноги, как становятся тяжелей свинца.

Она ждала. Время тянулось медленно, страшно медленно. В черном мраке избы секунды расплывались в вечности. Время остановилось. Руки и ноги Анисьи окоченели, пот ледяными каплями покрывал лоб и спину. Все равно, она должна это сделать!

Кто-то уже храпел. Анисья бесшумно приподнялась на печке. Ей показалось, что ее видно в темноте, что слышно каждое ее движение. Но те спали. Со всех сторон несло сопенье, храп. Они лежат вповалку на постланной на полу соломе. Полковник спал на кровати. Она спустила с печки одну ногу. Жда-

ла. Никто не шевельнулся. Другую ногу — ничего. Тихонько, осторожно она слезла с печки. Только не разбудило бы их ее сердце, которое стучало словно набат. Но нет, они спали. Спали глубоким, крепким, тяжелым сном усталых людей. Анисья, шаря руками в темноте, подошла к дверям. Сдерживая дыхание, еще раз повернула ключ и вынула его из замка. Глубже воткнула затычки в ставни. Сколько сил в ее дрожащих, опухших руках! Дверь была заперта крепко. Крепко. Крепко заперты были окна. Никто не помешает спать, никто не проникнет в хату, никто не нарушит отдыха господ офицеров.

Она переждала. Пошарила под лавкой. Да, бутылка была на своем месте. Полная бутылка. Как раз недавно Наташа принесла из лавки и поставила туда. Полную бутылку.

Анисья вытащила пробку. Бесшумно наклонилась над кроватью и медленно, осторожно налила керосину на солому, — там, где лежали полковничьи ноги. Отступила на шаг и медленно, осторожно полила керосином там, где лежали на полу офицеры. И на пороге, и всюду.

Дерево было сухо, сухи были доски, ведь сколько лет стояла уже хата? Дерево было сухо, как солома, как солома. Да, верно, солома... Она заботливо окропила и подстилку.

Дрожащими пальцами она поискала на шестке спичек. Были ведь и спички. А как же? — лежат на своем месте...

Накинув на голову одеяло, она потерла под ним спичкой о коробок. Вспышка, показалась ей, прозвучала громче выстрела. Но в избе все было тихо. Мерно храпели, спящим сном утомленные люди. Она поднесла горящую спичку к самому полу и не могла уже подняться. Быстрый огонек пополз по соломе, скользнул, как змея, между соломинками, разлился всюду, как вода.

Анисья, не отрываясь, глядела на огонь. Она не почувствовала, как загорелась ее намокшая в керосине юбка.

Когда с криком вскочил первый из спящих, изба горела пожирающим, быстрым, несущимся вверх огнем. Кто-то отчаянно ломился в дверь.

Бабка Анисья поднялась, но тут же упала ничком, упала лицом в пламя. Успела вспомнить, что двери и окна заперты, заперты крепко, и никому не удастся их открыть.

ДЕТИ

О ком написать? Каждый день записывает в историю страницы героизма. У обыкновенных людей вырастают за плечами крылья из вихря и пламени. Юноша вырастает в великана, старая крестьянка становится рыцарским видением. Нет сей-

час места на нашей земле, где бы не проявлялась великолепная человечность, величайшая красота сердца, сверкающая великими героическими подвигами, о которых сообщают газетные сводки и радиопередачи, и подвигами, которые не горят огнем и кровью, не взрываются, как цветная ракета, поднимающаяся к небу, но в которых заключается столько же мужества, самоотверженности, столько же глубочайшей любви, перед которой собственная жизнь значит меньше, чем пылинка, мимоходом стряхиваемая рукой.

Особую страницу в истории героизма пишут дети.

Безразлично, какую фамилию носил этот двенадцатилетний мальчик, как его звали. Таких, как он, появляется теперь много. Я пишу именно о нем потому, что как раз его историю, простую и потрясающую, рассказал мне очевидец.

Уже гудят по дороге немецкие танки. Вот-вот покажутся у околицы стальные каски. Старая украинская деревня, которая хорошо помнит борьбу с немцами двадцать с лишком лет назад. Поблизости лес — можно углубиться в зеленую чащу, притаяться, нападать издали на вражеские части.

Все мужчины уходят в лес. На лошадей — и айда. На дороге пыль. И в облаке пыли бежит за верховыми двенадцатилетний мальчик. Партизаны уходят, оставляют его в деревне.

Детские руки хватаются за стремяна, дрожащие пальцы вцепляются в конские гривы. Но как взять с собой в лес двенадцатилетнего, на долю и недолю, на жизнь и на смерть, на борьбу, в *контрасте* и нужны силы мужчины и выдержка мужчины?

И все же жаль этого мальчика, который, обливаясь слезами, бежит за лошадью, отчаянно цепляясь за стремяна. Детское сердце ранено до дна: не признали достойным партизанских рядов, не признали достойным взять в руки оружие. А он чувствует, всей душой чувствует, что и он может так же. Так же, как другие. И он хочет быть таким же, как и другие. Лошади бегут все быстрее. Босые ноги не успевают по запыленной дороге. В голосе отчаяние.

И вот кто-то, сжалившись, наклоняется с седла, подает небольшой предмет.

— На-ка гранату. Сиди в деревне, если что — дашь знать. Замечай, что и как. А если понадобится — лупи гранатой.

Слезы моментально обсыхают. Детские руки обхватывают холодный металл гранаты. Да, теперь все в порядке. Граната. Как у партизан. И поручение — как взрослому человеку.

Граната спрятана за пазуху. Двенадцатилетний мальчик идет, возвращается в деревню. Как поручено — примечает. Немцы еще не осмотрелись в деревне, еще осторожно задержались на окраине.

Мальчик примечает. В избе у дороги — штаб. Суетятся немецкие офицеры. Часовые у дверей. За пазухой прикосновение металла. Маленькая рука осторожно проверяет. Нет, граната никуда не девалась, она тут, за пазухой. А в избе, на окраине деревни, немецкий штаб, немецкие офицеры.

Прежде чем они начнут грабить деревню, прежде чем начнут жечь избы, убивать детей и женщин, прежде чем разразится ад, о котором малыш хорошо знает, — прямо-прямо в ту избу. Его голос не дрогнет, глаза не моргнут, когда его резким голосом окликнет часовая. Он жестами показывает, что у него есть сообщение для штаба. Что ему непременно надо войти.

В дверь выглядывает офицер. На ломаном украинском языке спрашивает, в чем дело. Голос мальчика не дрожит. Он смотрит прямо в глаза офицера. Так и так, он хочет сообщить, где скрываются партизаны.

Его ведут в избу. Там за столом сидят шестеро тех. Склонившись над картой, они трещат по-своему между собой. Глаза от карты поднимаются на вошедшего.

Так и так. Мальчик подсчитывает, примечает. Шестеро. Эполеты, знаки различия. Нет никаких сомнений — высшее офицерство.

За пазухой холодное прикосновение гранаты. Холодно смотрят детские глаза. Считают, рассчитывают. Как и куда надо пойти. Как надо сделать, чтобы удалось. Он отвечает спокойно, рассудительно. Так, мол, и так. Ушли из деревни партизаны. Все до одного.

Жесткие голоса нетерпеливо спрашивают. Мальчик медленно, спокойно отвечает. Рассказывает целую историю. По-крестьянски, не торопясь, подробно. Чтобы было время рассчитать. Чтобы успокоить этих за столом, если они случайно что-нибудь заподозрят.

Наконец, самый главный, — он сидит посередине, — машет рукой. Довольно. Он уже все знает — что ушли и как ушли. Осталось узнать одно: где они.

Переводчик повторяет мальчику вопрос:

— Где партизаны?

Мальчик делает шаг вперед. Вот он уже у стола. Лицом к лицу с шестерыми. Спокойным детским голосом он говорит прямо в лицо шестерым офицерам:

— Партизаны везде.

И молниеносным движением выхватывает из-за пазухи гранату. Молниеносным движением в тех, за столом. Прежде чем они успели вскочить, прежде чем успели крикнуть, понять, что происходит, приходит смерть.

И с ними двенадцатилетний мальчик. Один за шестерых.

Его детское личико застывает в жесткие суровые черты взрослого человека. На мертвом лбу величие героя.

Его не схоронит никакая могила, его не засыплет родимая земля. Детское тело обратится в золотое пламя в сожженной хате. Золотым пламенем загорится над украинской деревней пламенное отроческое сердце.

И потому безразлично, как была его фамилия, каким именем звала его мать, когда он бегал по полю. Он один из сотен, — этот порыв детского сердца, мужество ребенка, который знает, понимает и умеет любить так же горячо, как взрослый человек. И умеет гибнуть так же прекрасно, как взрослый человек.

★ ★ ★

Лунной ночью, полной блеска и тени, ароматной, сладостной украинской ночью по дороге едет машина. Далеко за лесом краснеет зарево, зажигая кровью едва видимые облака. Разбитый грузовик во рву, это красное зарево в небе, далекий грохот заставляют помнить о том, что ароматная, сладостная ночь — это необычная ночь. Что вопреки луне, вопреки аромату цветов, вопреки тишине природы — это ночь ужаса и крови.

По дороге движется большая черная машина. Поля серебрятся от росы. Дорога из серебряного блеска выпадает в черную раму леса.

И тут сразу на опушке — оклик. Из рва выскакивают двое. Им не больше чем по пятнадцати лет. Деревенские мальчики. В руках оружие — старые берданки.

Машина останавливается. Осторожно, с нацеленными дулами они подходят к автомобилю. При блеске месяца ясно видно, как дрожат в их руках берданки. Крадущимися шагами, готовые на все, они подходят.

Подумайте — глухая ночь, на горизонте пожары, вдали монотонный непрерывный грохот. Черный лес, пустая дорога, и на пустой дороге большая черная машина. Не видно, кто сидит внутри. Быть может, там десяток вооруженных до зубов людей, быть может, пулеметы, быть может, чорт знает что. Это могут быть торопливо несущиеся вперед диверсанты, шпионы, немецкие офицеры.

И навстречу этому неведомому из лесу выскакивают двое, не больше чем по пятнадцати лет.

— Стой!

Мы останавливаемся. Торопливо открываем дверцу. Торопливо прячем выхваченные револьверы.

— Пропуска.

Суровый детский голос. Конечно, мы показываем пропуска. Малец при лунном свете внимательно, со сдвинутыми бровями

читает. Возвращает пропуска. На детском лице — облегчение. Теперь они уже спокойно разговаривают с вами. Их руки уже не дрожат. Караул, да, караул. Тут сейчас за лесочком их деревня. А они сторожат на дороге. Мало ли что может случиться.

Мы уезжаем, оставляя за собой этот караул, двух пятнадцатилетних мальчиков, которые с берданками в руках сторожат дорогу у своей деревни. Двух мальчиков, которые выскочат из рва, кто бы ни появился на дороге. Двух мальчиков, которые в эту жуткую лунную ночь, полную шопота и вздохов деревьев, глядят на розовеющее зарево в небе, слушают далекий грохот и несут на своих плечах всю тяжесть ответственности за этот отрезок дороги. Нервы натянуты до крайности. Воля напряжена до последних границ. Легко быть героем, когда не понимаешь, что такое тревога. Но эти двое героически преодолевали в себе обыкновенный детский страх. Страх перед ночью, войной, страх перед неизвестным. Эти двое, вопреки дрожи в руках, шли навстречу чему-то, что могло оказаться смертельной опасностью, что в их представлении, когда они выскочили из рва, и было опасностью.

Двое пятнадцатилетних. А сколько их вчера, сегодня караулит по лесам, по дорогам, по околицам деревень и поселков. Сколько их, заменяющих ушедших на фронт мужчин, на оклик «стой» получают пулю в сердце. Кто назовет имена их всех, запишет деревни и местечки, где они жили и в которых уж никогда не достигнут возраста взрослого человека.

Имя их — легион. Наши дети — героические, великолепные советские дети, которые с мужеством взрослых, с разумом взрослых борются теперь за родину. Дети, в крови которых горит любовь к свободе, дети, для которых слово РОДИНА — это не мертвое слово, а сама жизнь, само биение сердца, пламенный призыв, глубочайшая любовь.

И их борьба — это наиболее убедительная документация нашей правды. И их борьба — это самое страшное обвинение, которое когда-нибудь история предъявит подлому врагу, изучая события наших дней.

Собственной кровью платят наши дети долг родине, которая дала им солнечное, счастливое детство советского ребенка. Собственную кровь льют наши дети на чашу весов, которую мужество, любовь и истина перетянут на нашу сторону.

НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ

Война изменяет в корне жизнь. Обыкновенные дни становятся эпопеей, героями становятся те, мимо которых раньше мы проходили, не зная о них, не обращая внимания.

На широких дорогах войны я встречала людей, пожатие руки которых запомню навсегда как высокую честь. Простых, твердых людей, в которых величие идущих над нами дней неожиданно открыло необычайный пафос, людей, поражающих своей простотой, своим беззаветным героизмом, несокрушимой убежденностью.

Львовский обком КП(б)У. Раздается телефонный звонок. Это звонят из Соколя — городка, расположенного у самой границы, вернее, пересеченного границей пополам: на нашей стороне город, на немецкой стороне — станция.

День, другой и третий звонит телефон из Соколя. Поступают донесения из райкома партии. В нескольких метрах от них происходит упорный бой. Работники райкома стоят на своих постах.

— Отходить только в случае крайней необходимости! — гласит приказ.

Знаем, что значит крайняя необходимость. И потому лихорадочно ждем звонка из Соколя.

А Соколь звонит. Все в порядке. Все на своем месте. Отдали такие-то и такие-то распоряжения. Спокойно, размеренно звучит голос в трубке.

В полдень — еще телефонный звонок. И вечером. А затем долгий перерыв. Теперь звоним мы.

— Соколь не отвечает!

Смотрим друг на друга. Ну что ж, значит пришел момент крайней необходимости.

На другой день являются из Соколя. Через плечо винтовки. До невозможности запыленная одежда. Лица спокойные, открытые, внушающие доверие.

— Немцы в город, а мы — задворками, задворками, пока они не заняли всего. Давайте работу!

Без лишних слов, просто и обыкновенно. Когда ночью смотришь на каменный свод, нависший над головой, вздрагивающий от падающих в городе бомб, думаешь о них — о людях из Соколя. Как мужественно и просто держались они на своем посту до последнего момента! Как высоко держали знамя партии, не выпуская его из рук! Как отходили шаг за шагом, не собираясь поспешно спастись. «Только в случае абсолютной необходимости...» И после долгой дороги, запыленные, грязные, — сразу: «Давайте работу!»

Члены партии, последними оставляющие посты, поддерживающие порядок до последней минуты под грохотом бомб под обстрелом банд диверсантов, — эти люди дают такие же прекрасные образы будничного героизма, как летчики, танкисты, пехотинцы Красной Армии.

Где-то там, возле Луцка, возле Дубно, неожиданно провалились вражеские отряды. Вот сидит передо мною человек в запыленном костюме и рассказывает.

Известие о прорыве немцев застало их в районе, вдалеке от дома. Долгие часы отсиживались под мостом, по которому стучали сапоги немецкого отряда. Затем вплавь через реку — в лес. Несколько часов в лесу. Один из них пошел к своему дому узнать, что слышно, что случилось с семьями.

Но нет уже домов и нет семей. Тот, кто сидит передо мной, рассказывает мне спокойным, твердым голосом дикую, страшную историю. Да, их загнали в один амбар — женщин, детей. Амбар подожгли. В пламени он потерял жену и двух маленьких детей.

Сию, и становится мне холодно. Не от того, что он рассказывает. Знаю: враг, против которого мы боремся, — это взбесившееся животное, способное на все. Но это спокойствие, это каменное спокойствие... Ни единой слезы, ни единого вздоха. Ни единой жалобы, ни единого слова скорби. Не время, не пора думать о собственной боли, когда пожар угрожает родимой земле.

— А сейчас иду в военкомат. Нужно драться!

Да, этот безусловно будет драться, как герой. Позади остались испеленная любовь, милые головки детей. Партийный работник из Дубновского района идет на фронт драться не на жизнь, а на смерть, храня каменное спокойствие...

Ночью телефонный звонок с почты:

— Нас здесь семеро: шесть комсомольцев и один беспартийный. Запишите фамилии... Сообщите кому следует, что шесть комсомольцев и один беспартийный работали до последней минуты, не вышли из города, погибли на посту.

Да, почта должна работать. Должны работать телефон, телеграф. В такую минуту это важнее всего. Семеро знают об этом. В минуту решения переживают свою смерть, с холодным спокойствием соглашаются на нее. Знают, что так надо. Выбирают путь, на котором нет спасения.

Трогательно — юнцы ведь, комсомольцы... Они хотят одного; чтобы когда-нибудь, где-нибудь вспомнили о них. Вспомнили о том, что они погибли за партию, за Советский Союз с полным сознанием и спокойствием отдали за него свои молодые жизни.

Широки, бесконечны дороги войны. На каждом шагу на этих дорогах мы встречаем красоту человеческого сердца, мужество простых людей, стойкость и беззаветную отвагу. На каждом шагу ежедневно создаются главы эпопеи, которая по плечу титанам. Факты, пронизывающие своей простотой. Люди, поражающие своей простотой.

Сегодня я думаю обо всех встреченных мною на дорогах войны, о людях, которые борются за свою идею и хотят быть достойными ее величия и красоты.

Слава отчизне, которую можно так сильно любить! Слава партии, которую можно так сильно любить! Слава дням величайшего героизма, которые мы переживаем, эпопее, которая создается!

ВСТРЕЧА

Возле крестьянской хаты, крытой соломой, стоит крестьянин. Пристальные глаза следят за движением на дороге. На бронзовом, опаленном солнцем и ветром лице приветливо усмеваются глаза навстречу людям в красноармейской форме. Крестьянин зажигает спичку. Один из красноармейцев подходит, прикуривает папиросу от спички, мерцающей в недвижном воздухе.

— Спасибо.

Крестьянин слюнявит между пальцами свою папиросу. Горит огонек спички в спокойном воздухе. Быстрые глаза пристально смотрят в лицо красноармейцу.

— Немцы далеко?

— Нет, недалеко, — звучит ответ, и красноармеец возвращается на дорогу.

Крестьянин закуривает, наконец, свою папиросу. Лицо его не изменило выражения. Пальцы не дрожат. Той же самой полудогоревшей спичкой он касается крыши своего дома. Сизый дымок папиросы, быстрый клубок дыма, бегущий по высохшей соломе. Крестьянин смотрит, как пламя охватывает крышу.

Еще нет двух лет с тех пор, как здесь, на этом самом месте, приветствовали Красную Армию, принесшую свободу в западные области Украины. Изменилась жизнь до глубины, до основания. Минули тяжкие дни, бессонные ночи. А сейчас там, на дороге, отходят последние красноармейцы. Крестьянин не раздумывал — через час или через два здесь могут быть немцы. Крыша его дома может стать для них кровом, стены его хаты дадут тень разгоряченным под стальными шлемами головам. Крестьянин не колеблется. Одно движение руки — и конец. Не осенит украинская крыша немецкого сна, не станет украинская солома подстилкой для захватчиков. Его хата станет огненным столбом. Крестьянин даже не оглядывается. Небрежным движением бросает в канаву окурок, переходит по узкому мостику на шоссе, размеренным шагом направляется туда, куда ушли красноармейцы.

Строил свою хату упорным трудом, каждую балку, каждую доску обработал собственными руками, старательно вязал каждый сноп соломы для крыши, думал о своей хате в долгие дни, видел ее во сне в короткие ночи после целого дня труда.

Но сейчас некогда думать об этом. Он сделал то, что зависело от него, — ни одной крыши над головой у врага, ни одной соломинки для врага, ни ломтика хлеба для врага. Если нельзя забрать с собой, пусть стелется дымом, пусть пропадает труд всей жизни, только бы не оставить, только не помочь трудом своих долгих дней, тревогой своих ночей успеху врага.

От самой границы идут вереницей вдоль длинных дорог крестьяне из колхозов. Поломали комбайны там, где не удалось отдать воинским частям, взорвали бензохранилища. В руках сверток, домоть хлеба в кармане — ничего больше не нужно. Они ведь идут в свою страну, к своим братьям.

Усталые лошади тащат телегу. В телеге между мешками светлые головки детей. Мужчины и женщины идут за телегой. Вязнут в песке босые ноги.

— Колхозники?

— Конечно, колхозники.

Белоснежная пыль встает над дорогой, оседает на головках детей. Дети весело лепечут, не понимая, не сознавая, что делается вокруг. Их забавляет неожиданное путешествие, движение на дороге, грохот обгоняющих их тракторов. Мужчина смотрит доверчивыми светлыми глазами.

— Все забрали с собой?

— Где там все! Что удалось, то на телеге, а что нет, то сожгли. Чтобы не попало им в руки, — добавляет он поспешно, точно боясь, что мы сможем подумать, будто он о чем-то жалеет.

— Вот земля осталась. Возвратимся, отстроимся быстро.

В белом мареве пыли исчезает телега. Высоко в небе кружит самолет, где-то вдалеке гремит зенитка. Спокойно удаляется семья колхозника. Они не оглядываются назад, где осталась для врага пустыня, сожженная усадьба, пепелище, которым не поживится враг. Скошены зеленые хлеба, которых враг не соберет.

Длинным пыльным шоссе бредет колхозная семья. Под гул крыльев самолета, под эхо далеких выстрелов бредет навстречу тому, что ясно видят крестьянские глаза: калышется под ветром золотая пшеница на широкой огромной ниве. Идут комбайны, гудят тракторы. От хаты к хате летит веселая песня. Широко и свободно расправляются плечи человека, свободно вздыхает грудь свободного человека. Во имя этого дня оставляют крестьяне все свое добро, труд всей своей жизни. Во имя

этого дня обращают они в прах свою усадьбу, уходят без сожаления, чтобы не отдать ни зернышка, ни колоска, который насытил бы хоть на пару часов ненасытный желудок грабителей.

Лица крестьян, уходящих на восток, спокойны. Они знают, зачем и почему. Ради прекрасного, великого дня победы, который настанет, когда будет стерт с лица земли враг человечества. А ради этого дня не следует жалеть домов и нив и всего, что можно отстроить, возобновить и создать на свободной советской земле.

ЖЕЛЕЗНЫЙ КРЕСТ

На опушке леса темное болото. За болотом — холмы, покрытые зреющими хлебами. Солнечный погожий день. Как будто ничего не случилось, как будто существуют только лес да поля, где расцветают фиолетовые колокольчики и золотятся хлеба, дозревающие на солнце.

Но лес изрыт линией окопов, из амбразур дота глядят стволы противотанковых орудий. В хлебах осторожно ползут немцы. Тишину часто раскалывает грохот оружейного выстрела. Высоко над нами, над лесом, над окопом слышен шум, точно проносится, трепеща крыльями, стая птиц. И грохот разрыва. Справа стрекочет пулемет. Птицы утихают. Сейчас суровым голосом разговаривает война.

В окопе — бойцы. Разные лица, разные глаза — то светлые, то темные, — из Марийской АССР, из Вологды, из Киева, из всех краев. Здесь, в одном узком окопе, особенно наглядна дружба народов Советского Союза, братство, связывающее людей, несмотря на различие языков, несмотря на то, что у каждого из них его родимое село или родимый город выглядят совершенно по-иному. Их объединил единый труд, единая дорога, единое красное знамя. Сейчас их братство навеки цементируется кровью, вместе проливаемой для блага единой великой отчизны.

Под стальными шлемами — спокойные молодые лица. Люди знают, зачем они здесь, знают, ради чего они здесь. Там, впереди, немцы, здесь, позади — родная земля. Вьется узкий окоп непрерывной линией — граница, установленная твердо и нерушимо. Как неприступная крепость, высится дот на опушке леса. В окопе залегли люди — верные стражи советской земли.

У противотанковой пушки задерживаемся на минуту. Командир показывает трофей: железный крест, снятый с груди убитого немца. Беру в руки немецкую награду. Черная эмаль,

серебряный ободок. На черной эмали дата — «1939 год». На одно мгновение исчезают и лес, и окоп, и я не слышу уже грохота артиллерийских залпов, проносящихся над нами раскатистым эхом. Багровый отблеск сверкает на черной эмали немецкого креста. Не отблеск ли это пожаров польских сел и городов? Не отблеск ли это крови тех, кто пал на польской земле, — крови замученных женщин, убитых детей, замученных сотен и тысяч.

1939 год... За какие же это «героические дела» 1939 года получил немецкий офицер свою награду? 1939 год — железный крест за «заслуги в разгроме Польши».

За что получил он свой железный крест? За Варшаву в развалинах, за Краков в окопах, за уничтоженные дотла, сожженные села? С 1939 года спокойно носил свою награду немецкий офицер, прошел с ней далекие земли; в черной эмали креста отражались зарева пожаров в Бельгии, Франции, Голландии, Норвегии. На черный крест смотрели испуганные глаза бельгийских, норвежских, французских, голландских детей. Надменно, высокомерно проносил на своей груди железный крест немецкий офицер, проходя победителем через города и села, через покоренные страны. Но вот занесли его судьба и приказ сюда, на украинскую землю. И довелось здесь расстаться ему и с жизнью, и с крестом. Рука командира сняла с вражеского офицера награду: черный эмалевый крест с серебряным ободком — свидетельство, что немецкий офицер добросовестно исполнял свои обязанности разбойника.

Здесь, на украинской земле, отдает в мои руки добытый крест командир Красной Армии. Он, быть может, даже не обратил внимания на дату, начертанную на кресте. Для него это было не так важно. А какой глубокий символ являет собой этот мертвый кусочек металла! Ведь этот командир Красной Армии явился мстителем за пролитую кровь, сражаясь за свою землю, он борется за всех угнетенных и поработанных. Он борется за поработанную, закованную в цепи польскую, бельгийскую, французскую землю, он является рыцарем народов, рыцарем культуры, ее защитником и освободителем.

Я думаю о минутах, пережитых без малого два года назад, — в 1939 году в Польше, когда Гитлер начинал свой разбойничий поход, и одновременно — о той минуте, когда закончится этот поход неизбежным поражением.

Символом опустошительного похода фашизма служит для меня этот черный крест с фатальной датой. Символом поражения, которое неизбежно ожидает фашизм, служит для меня то, что этот черный крест оказался в руках командира Красной Армии.

Над лесом снова проносится грохот артиллерийского залпа. Далеко на горизонте белый дымок разрыва. Люди в окопах смотрят через болота на созревающие хлеба.

— Нужно будет прочесать эту рожь! — спокойно роняет командир и прячет в карман трофейный немецкий крест.

Прочесывают рожь с тем же самым спокойствием, с каким разговаривали с нами. Окопы, доты, артиллерийские гнезда дышат на нас глубокой и полной уверенностью в победе. Лица бойцов и командиров дышат глубокой и полной уверенностью: что бы ни случилось, сколько бы ни пришлось пережить и пройти, сколько ни грозила смерть,—все-таки мы, и только мы, победим!

ШТЫКИ И СМЕРТЬ, НАДРУГАТЕЛЬСТВА И НАСИЛИЕ — ВОТ ЧТО НЕСУТ ГИТЛЕРОВЦЫ

В течение почти двух лет, начиная с сентября 1939 года, области Западной Украины развивались и хозяйственно крепились быстрыми темпами. В пять раз увеличилось количество школ и научных учреждений. Возникли новые фабрики, удесятирилось число рабочих на старых предприятиях. Открылись новые больницы, амбулатории, детские ясли. Сеть библиотек охватила города и села. В деревне начали работать машинно-тракторные станции, на полях появились машины. Большими шагами двинулось вперед сельское хозяйство. Огромные капиталовложения были затрачены на развитие городов и сел. Жизнь входила в норму, еще быстрее шла вперед.

22 июня 1941 года загремели выстрелы вдоль границы СССР, на Сане и Буге. Мрак ночи окутывал землю. Фашистско-немецкие самолеты громом бомб, сбрасываемых на города, оповестили начало войны.

Подвергшиеся вероломному нападению, отряды пограничников и Красной Армии отходили, оказывая героическое сопротивление. На земли Западной Украины начала вторгаться германская армия.

23 июня пришли первые вести о том, как ведет себя гитлеровская армия на занятых землях.

С началом войны из пограничных местечек начали поспешно эвакуироваться женщины и дети. За Равой-Русской германский отряд перерезал дорогу. Грузовик, везший около 20 женщин с детьми, был задержан. Винтовочными выстрелами гитлеровцы расправлялись с матерями. Детей закололи штыками. Никто не остался в живых.

Проходя через села, гитлеровцы тщательно расспрашивали о колхозах. Колхозников вешали на месте. Придорожные деревья в Львовской и Дрогобычской областях послужили виселицами для десятков людей.

Началось массовое бегство населения, видевшего, что ему угрожает нечто более страшное, чем смерть: мучения, пытки, надругательства.

Двинулись поезда, по дорогам помчались грузовики, все проселочные пути заполнили люди, уходившие пешком, без вещей, без всего на восток.

Германские самолеты немедленно начали действовать. Посыпались бомбы на эвакуационные поезда. 24 июня под самым Львовом в поезде, где находились исключительно женщины и дети, германские бомбардировщики разбили два вагона, уложив наповал свыше сотни женщин и детей. Летчики спускались низко над дорогами, скашивая огнем пулеметов десятки людей. У местечка Бобрка, под Бережанами, возле Золочева, дорога покрылась кровью. Летчики стреляли, ясно видя, что их пули попадали в небооруженных людей, среди которых преобладали женщины и дети.

Бомбардировка происходила днем и ночью. Гитлеровские летчики сеяли смерть и разрушение. Они и не думали сбрасывать бомбы на объекты, имеющие военное значение. Первая крупная бомба во Львове упала в центре города, в районе, не имеющем никаких фабрик или военных учреждений, на пассаж Миколаша. В пассаже, где помещалось много магазинов и складов, как всегда в полуденную пору, царило оживленное движение. Пассаж рухнул, погребая под обломками свыше 70 жертв.

30 июня гитлеровские отряды вступили во Львов.

1 июля была устроена резня под лозунгом: «Бей евреев и поляков».

Начался страшный погром. Гитлеровцы убивали людей на улицах, разбивали им черепа железными ломami и прикладами ружей, выбрасывали на мостовую из окон домов. Около 400 человек пало жертвами первого дня погрома. Раненых, окровавленных людей гнали по улицам под дикие крики и издевательства громил. Падающих добивали прикладами, топтали сапогами.

На второй день была устроена выставка убитых в пассаже Гаусмана. Рядами у стен домов лежали изуродованные трупы. Среди них преобладали женщины. Страшную «выставку» открыл труп молодой женщины с ребенком, проколотой в грудь штыком. Штык, пригвоздивший ребенка к матери, торчал в раме.

Но «выставка» произвела совершенно не то впечатление, на какое рассчитывали гитлеровцы. Она не разбудила низких инстинктов, а, наоборот, вызвала ненависть к немецко-фашистским мерзавцам.

Город начал бурлить. Немецкие власти переполошились. На четвертый день пребывания гитлеровцев во Львове погромы были запрещены. Это, конечно, не означало фактического их прекращения. Окончились массовые расправы на улицах, и начинались расправы более утонченными методами: людей убивали, истязали в помещениях, исподтишка.

Во Львове появилось гестапо. Начались плановые аресты. Они охватывали в первую очередь интеллигенцию, а затем всех тех, кто активно работал в городе: передовых рабочих фабрик, работников военных учреждений, коммунальных предприятий и вообще всех, проявивших себя политически.

Людей арестовывали днем и ночью. Очевидец Мартыненко говорит: «Днем и ночью я видел, как грузовики, переполненные окровавленными, избитыми людьми, ехали в направлении к Виннической Рогатке. Там были мужчины, женщины и даже дети». Грузовики направлялись к лесу под селением Винники, в нескольких километрах от Львова. В Вишикском лесу происходили массовые казни: людей расстреливали целыми сотнями. За 4 недели расправ гестапо с населением во Львове погибло 6 тысяч жителей.

На третью неделю гитлеровского правления во Львове был арестован, а позднее и расстрелян бывший польский премьер, выдающийся ученый, профессор Политехнического института Казимир Бартель. Бартель был в Польше человеком необычайной популярности благодаря своим научным заслугам, политическому уму и прежде всего — кристальному характеру. С сентября 1939 года Бартель политической деятельностью не занимался и работал в Политехническом институте преподавателем.

Вместе с Бартелем расстреляли еще 16 представителей польской науки — профессоров Львовского университета, Медицинского и Политехнического институтов.

Ужас объял город. Женщины вообще перестали показываться на улицах. Гитлеровцы, не считаясь ни с кем и ни чем, нападали на девушек, насиловали их на улице, стреляя в тех, кто встал на их защиту. Фашисты насиловали 13- и 14-летних девочек, цинично, открыто, на глазах у родителей.

Немедленно начались и грабежи. Всем, что было в магазинах, советская власть перед уходом из города старалась снабдить население. Поэтому в магазинах и складах запасов почти не осталось. Гитлеровцы начали грабить квартиры, забирали

все — продукты, деньги, ценности, одежду, постель. Людей, защищавших свое имущество, безжалостно избивали и калечили.

Во Львове был разрушен памятник Мицкевичу. Тот самый памятник, который был для Львова дорогим историческим воспоминанием. Тот памятник, под которым некогда был сожжен портрет царя. Тот самый памятник, под которым зимой 1940 года, в дни юбилея гениального польского поэта, праздновавшегося торжественно по всему Советскому Союзу, были возложены венки от представителей польского, украинского, русского народов.

Гибель и смерть, уничтожение культуры, ужас и страх — вот что принесли гитлеровцы городу.

Тем, которых не поразили ни пули, ни ужасные пытки, грозит голодная смерть. Прежде ежедневно из восточных областей Украины приходили целые поезда с товарами, продовольствием, насыщая рынок. Население города было обеспечено. С момента же вторжения немцев перед Львовом встал призрак голодной смерти.

Норберт Бучек, поляк из Кракова, забранный в германскую армию и в первый же день своего пребывания на фронте сданный в плен частям Красной Армии, пишет:

«Некоторое время я был вместе с отрядом, с которым меня забрали во Львов. Львов сегодня — это большое кладбище. Он расхищен и разграблен целиком. Тысячи людей, почти вся передовая интеллигенция, погибли страшной смертью. Десятки тысяч жителей Львова вывезены в глубь Германии — неизвестно куда, на работу или в концлагери».

Во Львове находился цвет польской интеллигенции. Тут были известный Политехнический институт, университет. После сентября 1939 года здесь очутились все те, кому удалось бежать из занятой немцами Польши. Здесь оказались крупнейшие профессора, в том числе много европейских знаменитостей, сюда попали писатели, инженеры, актеры, врачи, чьи имена знала вся Польша. И с этой интеллигенцией начали в первую очередь расправляться коричневые убийцы, превосходя своей жестокостью кровавые преступления в Кракове, Варшаве, Познани.

Замерла культурная жизнь, бурно развивавшаяся в городе. Уничтожены и сожжены библиотеки, разгромлены лаборатории научных учреждений, перестали работать 4 театра Львова. С наступлением учебного года школы не открылись. Крестьянке одного из сел под Львовом, обратившейся с вопросом о школе, цинично ответили:

— А твоему ребенку для чего нужна школа? В конце кон-

цов, если откроются школы, то это будут наши школы с нашими учителями.

Террор разливается широкой волной по всей Западной Украине.

В Бориславе — в рабочем центре — тысячи людей погибли от пуля, тысячи были вывезены в Германию. В Дрогобыче, Тарнополе, Станиславове, Ровно, Кременце происходили погромы. Тюрмы переполнились. Пригородные рощи пропитались кровью казненных.

Массовые казни происходят также в селах. Села разграблены дочиства. Немцы грузят на свои машины не только зерно, сало, птицу, скот, но — перины, подушки, сапоги, тулупы, всякую одежду. Грабеж происходит либо совершенно открыто, либо под видом так называемых «закупок». «Закупка» совершалась таким образом: за корову платили издевательскую «цену» — три рубля. Вдобавок ко всему и эта сумма иногда вносилась не деньгами, а квитанциями, подлежащими оплате «после войны».

Немцы вторглись на земли Западной Украины несколькими колоннами, стараясь отрезать определенные местности, чтобы не дать возможности уйти населению и работающим среди него коммунистам. Каждого подозреваемого в принадлежности к коммунистической партии расстреливают на месте после предварительных пыток. Повсеместно в городах и селах производятся обыски и допросы, чтобы обнаружить коммунистов. Следствие совершается по методам средневековой инквизиции. Допрашиваемым пробивают ладони и ступни штыками, людей пытаются каленым железом, выкалывают глаза, женщинам отрезают груди.

Замучено, убито, исчезло много людей. Кровь стынет от злодеяний фашистских убийц.

Я сама оставляла Львов и земли Западной Украины в последний момент, когда уже все было охвачено огнем войны. Уже тогда было видно, что эта война убийственная, безжалостная и что разъяренные гитлеровцы в пылу бешенства превосходят самих себя по жестокости. Я видела, как пылают фабрики, недавно построенные, дававшие работу тысячам людей, как гибнет хлеб в поле, затаптываемый тысячами ног, как рушатся дома, погребая под собой десятки жертв, как от ужаса люди бегут с земель, захватываемых немцами.

Гитлеровцы сеют ужас и смерть. Потрясающее впечатление производил на меня вид крестьян, оставлявших свои дома и землю. Крестьянин органически сросся с землей, привязан к своей усадьбе, к хозяйству, к корове, к коню. По дороге к Проскурову, к первому городу на старой советской границе,

шли толпы крестьян. Они не успели с собой взять ничего. Уходили без куска хлеба, даже без узелка, в котором была бы хотя частичка имущества. Поспешно шагая, они шли без отдыха, устремляясь к земле Советского Союза, оставляли за собой горящие дома, растоптанные поля, движимое имущество.

В захваченные деревни уже через пару дней солдафонской разнузданности прибыло гестапо. Начался террор систематический и организованный. Гестапо производит аресты, массовые казни. Затем создаются органы власти, которой надлежит хозяйничать на местах. При этом гитлеровцы широко пользуются услугами преступного элемента. Люди, отбывавшие тюремное наказание за бандитизм, кражи, взломы, убийства, заполучили в свои руки власть и стали хозяевами жизни и смерти населения. Теперь под охраной немецких штыков они удовлетворяют свои инстинкты убийц: грабят, мародерствуют, убивают.

Разоренные, опустошенные земли Западной Украины превращаются в кладбища. Бомбы и пожары начали дело уничтожения, германская армия развила его дальше, а гестапо завершило окончательно.

С каждым днем приходят все более мрачные вести. Наряду с евреями немцы целиком уничтожают на этих землях и польское население. Для этого расстреливают каждого десятого интеллигента, для этого истребляют рабочих, для этого жгут и разрушают польские села возле Тарнополья и Львова.

Одновременно падает жертвой и украинское население, гибнут города, гибнут села.

Как крест над могилой, распростерлась свастика над землей Западной Украины. Но, невзирая на террор, несмотря на неслыханное угнетение, гитлеровцам не удалось сломить людей, превратить их в подлецов. Факты саботажа, покушения на гитлеровских убийц совершаются все чаще и на Западной Украине. И там возникают все новые и новые партизанские отряды, борющиеся с захватчиком.

Истерзанная, угнетенная кровавыми немецкими захватчиками, истощенная кровью и слезами, Западная Украина с несокрушимой верой ждет дня своего освобождения.

ЗА ЧЕСТЬ НАЦИИ

Гитлеризм — наследник всех империалистических немецких устремлений на протяжении веков.

Польское государство только создавалось, когда двинулись с Запада железные шеренги на мирных обитателей полей и лесов. Огнем и мечом уничтожал враг деревянные поселки, оставляя после себя пустыни.

Крестоносцы были самыми коварными врагами, не соблюдавшими обязательств, рвавшими пакты и договоры. Эту традицию хорошо усвоил Гитлер у закованных в железные панцири предков.

Орден крестоносцев стремился к уничтожению польского племени. Злодейства хищного насильника записаны черными строками в памяти народа.

Далее — раздел Польши.

Началось позорное уничтожение нашего народа. Польских детей заставляли учиться на чужом языке, преследовали за родную речь. Героически боролись дети за язык своих отцов, за свое достоинство. Навсегда останется в нашей памяти эта позорная история преследования немцами малолетних за любовь к родной культуре.

Началось лишение поляков земли. Колонизаторские стремления не давали захватчикам спокойно спать. Обезлюдить целые пространства, онемечить их любой ценой, уничтожить все польское — такова была цель агрессоров. И эту «традицию» хорошо усвоил немецкий фашизм.

Со времени прихода гитлеризма к власти было известно, что он смертельной опасностью угрожает Польше — как государству, так и народу.

Гитлер объявил крестовый поход против славянства. Он утверждает, что славянские народы должны стать рабами немцев. Зоологическая ненависть к славянским народам была из каждой речи Гитлера, из каждой статьи его подручных. Все больше и больше слышали мы о «польских хамах», «польских джаржах».

Наступил год 1939...

На пятьдесят два города и местечка Польши упали бомбы. Началось уничтожение польского народа, польской культуры. Немцы бомбардировали старинные здания, произведения искусства. Обращены в развалины старинные города, просуществовавшие несколько столетий. С варварским увлечением фашисты превращали в прах то, что на протяжении веков создавала рука художника, что поколения сохраняли с любовью и благоговением.

Бомбардировке подверглись маленькие местечки, не имеющие никакой промышленности, незначительные с военной точки зрения. С первого дня было очевидно, что это не завоевание, а полное уничтожение. Огнем и бомбами уничтожалось все, на что обращался взор варвара. Обращены в прах крестьянские дома в Куявах, в Мазовье.

В рабочих кварталах Варшавы падали с самолетов отравленные конфеты, в других городах были разбросаны цветные

коробочки, взрывающиеся в руках поднимавших их детей. Разбрасывали отравленные папиросы, отравленный шоколад. Легчики опускались низко и из пулемета косили толпы беженцев, тянувшихся на восток. Из пулеметов стреляли в женщин, работавших на полях. Убийцы гнались за малолетними пастушками и зверски убивали их.

В сентябре 1939 года, идя к советской границе, я прошла несколько сот километров польской земли. И от Варшавы до советских границ небо было все время багрово от зарева, куда ни посмотри — во всех направлениях море огня. В воздухе носился невыносимый, отвратительный запах горелого, который после нельзя было забыть целыми неделями. Этот запах преследовал всюду — в поле, в лесу, на лугу. Весь воздух был насыщен запахом пожаров. Все в пламени и развалинах, из-под развалин шел трупный смрад, так как трупы некому было откапывать и погребать. Сожженные села, оставленные хаты, брошенное добро, мертвая пустыня. А на дорогах, на трактах, тропах — тысячи людей, бредущих неизвестно куда, угнетенных, разбитых, глухих и слепых ко всему, что делается вокруг. Люди без дома, без крова над головой, без родины.

Вот во что превратил Гитлер землю моей отчизны, мирных поморян, мазовецкие села, зеленые равнины Подляшья.

Таков наш счет, горький счет моего народа людоедам XX века. Много моих братьев и сестер погибло в те тяжелые дни. Ужасным стало существование польского народа под сапогом немецкого фашизма. Губернатор Франк «разъяснил», что поляки должны стать народом-невольником.

Прежде всего начался грабеж культурных ценностей: В Германию вывезена знаменитая Ягеллонская библиотека, одна из лучших в Европе. Вывезены старые пергаменты, редчайшие книги. Вывезены варшавские библиотеки, картинные галереи. В костелах сбиты барельефы и скульптуры, сняты фрески. Немецкий мародер забирал все.

Немецкие фашисты решили отменить польскую культуру. Ненужными оказались многие вещи. Не нужны университеты, не нужны средние школы, — ведь для того, чтобы быть рабом, не нужно иметь образования. И совсем не нужна польская интеллигенция.

Начались массовые аресты среди профессоров всех университетов. А ведь известно, что из немецких тюрем никто не выходил. Начались аресты среди художников, которые, чтобы существовать, работали кельнерами в кафе и ресторанах. Начались допросы в гестапо, массовые издевательства над людьми, массовые самоубийства тех, кто предпочел погибнуть от собственной руки, чем от руки убийцы. Но и этого оказалось

мало для физического истребления народа. Зимой, в жесточайшие морозы, началось выселение поляков с родных земель. Шли в пустыню, в неизвестность, падали на дорогах, умирали, замерзали, гибли сотнями. Выселены поляки из Кракова, который вдруг оказался старинным немецким городом. Вообще мы не знали, где мы, собственно, живем. Земля, на которой родились наши деды и отцы, на которой звучал веками наш язык, жили наши традиции, вдруг после сотен лет была объявлена немецкой.

Разрушительная разбойничья работа продолжалась беспрерывно. Немцы решили физически уничтожить польский народ. Забрали все, что можно было есть. Карточная система рассчитана на голодное существование населения, на голодную смерть. Голодает не только город, голодает крестьянин, превращенный в крепостного раба немецкого помещика. Все население буквально умирает с голоду.

Польский народ будет уничтожен, если он не свергнет иго немецкого фашизма. Вот почему наша жизнь, наша судьба зависят от победы Советского Союза.

Советский народ борется и за наше существование, и за нашу свободу. В борьбе и за нас проявляет чудеса мужества советский летчик, и за нас отдает жизнь пограничник.

Эта борьба более страшна и тяжела, чем все, что знала до сих пор история. Борьба не на жизнь, а на смерть. В этой борьбе и мы должны участвовать. Мы будем воевать за честь нашей нации, за нашу культуру, за нашу землю. За достоинство человека, за право народа жить. В борьбе, которая сейчас происходит, решается и наша судьба. Победа Советского Союза будет и нашей победой.

Нет, мы не народ-невольник, мы народ, который родил Мицкевича, Словацкого, Ярослава Домбровского и Кюри-Склядовскую. Земля, истоптанная врагом, взывает к сопротивлению. Идет смертный бой. Мы можем выбирать между окончательным уничтожением поляков и возрождением нации. Мы должны жить, мы должны победить, и тогда мы сможем войти в семью свободных народов, которым больше не будет угрожать зловещая тень свастики.

МЫ ВЫЙДЕМ ПОБЕДИТЕЛЯМИ

В условиях соглашения между Правительством СССР и Польским Правительством имеется пункт о создании польской армии на территории Советского Союза.

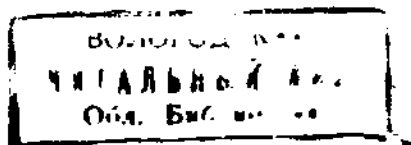
Вновь воскресают великие воинские традиции поляков. Двинется навстречу смертельному врагу, навстречу коричпе-

вому хищнику польский воин. Отомстит польский жолнер за руины разрушенной Варшавы, за сожженные польские села, за всех расстрелянных, замученных на земле, захваченной немцами, отомстит польский солдат за всю ложь и клевету, выливавшуюся фашистскими бандитами на польский народ. Отомстит за попранное, за оплеванное достоинство поляков.

Встанет польский солдат плечо к плечу с красноармейцем. В братском союзе с Рабоче-Крестьянской Красной Армией пойдет армия польская на бой с врагом своей родины, врагом славянского мира, врагом человечества.

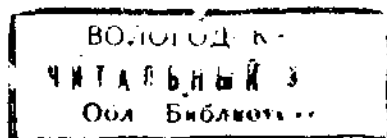
Верю, что по захваченным немцами польским землям вскоре полетит весть о том, что на фронте рядом с бойцом Красной Армии стоит воин армии польской. Кинутся партизанские отряды на врага, полетят с рельсов поезда, запылают склады и магазины. Польский рабочий, крестьянин и интеллигент начнут бороться так, как боролись партизаны-повстанцы 1863 года.

Я верю, что из этой борьбы мы выйдем победителями. Я счастлива, что победе над фашизмом поможет мой польский народ.



СОДЕРЖАНИЕ

Песня о родине	3
Партбилет	5
Братство народов	9
В хате	14
Дети	23
На дорогах войны	27
Встреча	30
Железный крест	32
Пытки и смерть, надругательства и насилие — вот что несут гитлеровцы	34
За честь нации	39
Мы выйдем победителями	42



Редактор З. Гильдина.

Тираж 50000. Подписано к печати 3 февраля 1942 г. ЕО7510. 2¹/₄ печ.
листа. 2,55 авт. листа. Цена 50 коп.

Типография им. Мяги греста «Полиграфнига», ОГИЗ, г. Кузбышев,
ул. Вевцена, 60. Заказ № 113.

50 коп.

